

## МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

[КОЛЕСОВ В. В.]

### СИНОНИМИЯ КАК РАЗРУШЕНИЕ МНОГОЗНАЧНОСТИ СЛОВА В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ

Соглашаясь с тем, что предметом исторической лексикологии является текст (Б. А. Ларин), уточним, что объектом ее является семантика слова, в своем историческом движении определяемая функцией текста. Древнерусский текст всегда отличался широким развитием синонимии и лексической вариантности, пределы которых ограничены содержанием текста (назовем это с и н т а г м о й) или системой языка (п а р а д и г м а). Необходимо уточнить и представление о синонимии и полисемии в древних текстах, поскольку исторически семантика слова и семантика текста развиваются параллельно и в корреляции друг с другом.

Интерес представляют как синтаксически связанные словоформы одного слова, так и независимые от парадигматических отношений формы одного слова. С противоположных сторон они могут указывать на отношение носителя древнерусского языка к слову, когда еще и само слово — семантическая синкрета, и лексема, и словоформа, и высказывание, даже текст в целом — слово же.

Синтаксическую связанность древнерусских словоформ можно иллюстрировать на примере одного из излюбленных в исторической литературе слов — *домъ*. В текстах до XV в. — переводных и оригинальных — каждое из определяемых современным сознанием «значений» этого слова коррелирует с особой, всегда одной и той же грамматической формой его проявления. Из известных мне многочисленных текстов, созданных до XVI в., выявляется следующее распределение «сем» по словоформам:

1) «кров (жилье)» — в сочетании с притяжательным местоимением как знаком принадлежности, преимущественно в устойчивых сочетаниях с глаголами движения или пребывания: *иди въ домъ свои, бысть в дому его* и т. д.; эти выражения всегда эквивалентны древним наречиям и столь же лишенным грамматической парадигмы формам типа *домови, домой, домовъ, дома, в дому*;

2) «семья (домочадцы)» — в сочетании с местоимением *всь* (при возможном притяжательном местоимении, как и в предшествующем случае), что также доказывает достаточную древность этого «значения» слова; ср. *всь домъ свой*, что семантически эквивалентно возникшим впоследствии производным типа *домочадци, домашнии*, еще позже — *домовнии* и т. д., которые как бы эксплицитировали одно из значений слова в отдельных, социально важных, лексемах;

3) «хозяйство, имущество» — всегда имя существительное в свободном употреблении и без определений, но, как правило, в форме им. или вин. падежей и в общем ряду слов близкого по смыслу «значения», ср. обычные перефразировки библейского выражения *прилагати домъ к дому и село к селомъ* у Климента Смолятича, *домъ, село и имѣние* у Кирилла Туровского (XII в.) и др.

4) «здание» — всегда с уточняющим определением (прилагательным: *велици и свѣтли домъ* и под.) и обычно после глагола с обозначением действия, ср. *сътворити, създати, разрушити* и т. д. *домъ*. Особенностью этого значения является возможность употребления в форме мн. числа *домы* и появление синонимов типа *здание*. Напротив, предшествующее

«значение» слова экспликации вполне однозначной самостоятельной лексемой не имеет, каждое слово, которое мы могли бы привлечь для этого, всегда является более отвлеченным по значению, в логическом отношении предстает как родовое понятие (ср. позже *имѣние* — и др.).

Представленная последовательность значений слова соответствует исторической последовательности появления формальных ограничителей словоформ в речи, почему и можно было бы говорить о семантическом развитии значений слова *домъ* от самого первого из них («общий» кров» до последнего — «здание». В древнерусском языке, как можно судить по материалам, семантика слова еще не вычленилась из семантики словоформы, поскольку каждое конкретное «значение» слова-синкреты [дом] оказывается распределенным грамматически (не статистически, не стилистически, не функционально и ни как-либо еще). Только чисто условно, по формальным признакам, учитывая «свободную» позицию словоформы со значением «хозяйство», можно было бы сказать, что «основным» (номинативным) значением этого слова в древнерусском языке было значение «хозяйство», а не «здание», как в современном русском литературном языке, и не «(общий) кров», как в праславянском языке. Однако чтобы положительно утверждать это, следует сначала доказать, что распределение «сильных» и «слабых» в отношении к форме семантических позиций в древнерусском языке было таким, как и в современном литературном языке. Последнее сомнительно по следующим соображениям.

Во-первых, с содержательной стороны каждое ключевое понятие имело, по-видимому, оппозита, в котором отчасти совмещались и некоторые общие двум понятиям значения. В отношении к понятию [дом] таким оппозитом был [двор]. По крайней мере до XIII в. встречаются тексты, в которых *домъ* — *дворъ* по своим значениям находятся в дополнительном распределении, а долгое время так и просто стилистически. В «Слове о полку Игореве» только *двор* — в «Задонщине» этому соответствует *домъ*; *двор* чаще в летописи, а *дом* — в житиях. Но дело не только в этом. Неопределенность семантических границ между обеими лексемами, например в «Повести временных лет», хорошо описана [1; 2, с. 107—108], но основным значением в обоих случаях справедливо указывается «хозяйство, имущество». В древнерусских переводных светских текстах XII в. *домъ* или *дворъ* являются собирательным обозначением имущества, хозяйства. *Дымъ*, *домъ*, *дворъ* как основная податная единица, сменяя друг друга, проходят через все древнерусские тексты, касающиеся этой темы. Точно так же и захватчики грабят или жгут *имѣние мое*, *дворъ мой* или *домъ мой* [2, с. 108]. Нестабильность объема понятия [двор] в отношении к хозяйству и неопределенность номинаций в зависимости от текстов препятствуют признанию этого значения слова в качестве основного<sup>1</sup>.

Во-вторых, и известные значения слова *дворъ*, в свою очередь, оказываются грамматически связанными. Например, значение «группа лиц из родственников, приближенных и личных слуг»; «придворные» с формой притяжательного местоимения отмечается в твор. или вин. падежах: *со всемъ дворомъ*, *весь дворъ свой*.

Есть и другие грамматические особенности, которые делают значения слова связанным морфологически. В древнерусских текстах слово *домъ* обычно выступает в архаических формах парадигмы \*-й-основ — кроме формы дат. падежа (что понятно, поскольку старая форма *домови*, получив наречное значение, изменилась). Представим себе, что в форме местн. падежа уже в XII в. возможна словоформа *въ домѣ*, и «значение» слова сразу же изменяется — «в здании». Новое значение слова обычно и прикрепляется к новой для парадигмы форме; более того, можно утверждать, что и появление новой (аналогического происхождения) формы связано с необходимостью выявить одно из значений слова. Морфологические процессы унификации парадигм и внутренней аналогии вызывались необходимостью расширить сферу действия семантических границ слова при сохранении старой грамматической системы.

<sup>1</sup> Детальную разработку значений этого слова применительно к срезу XVI—XVII вв. см. в [3].

Затем, на основании тех же древнерусских примеров, мы замечаем, что у слов *домъ* и *дворъ* предпочтительными были различные предложно-падежные сочетания, и особенно в самых древних значениях — пространственных, ср. в вин. и местн. падежах *въ домъ*, *въ дому* — *на дворъ*, *на дворъ*, *на своємъ дворъ* (но с определением уже и новые обороты: *в ветхом дворе*, *в царевъ дворе* и др.). Грамматическая связанность значения слов жестко определялась не только падежной формой, но и характером предлога, следовательно, — и синтаксически.

Независимые от парадигмы словоформы лучше всего заметны на примере только что появившихся в древнерусском языке слов. В Изборнике 1076 г. лексический русизм *ларь* в тексте древнерусского перевода «О милостивѣмъ Созоменѣ» представлен в местн. падеже ед. числа *лари*, в род. падеже мн. числа *ларевъ* и вин. падеже мн. числа *ларѣ* (т. е. и грамматический русизм). Одно и то же «слово» входит по крайней мере в три различные грамматические парадигмы, поскольку до вторичного смягчения согласных заимствованное из древнескандинавского языка слово *larr* «ящик» не могло попасть сразу и непосредственно в тип склонения на *\*-jo*. Можно говорить о парадигмах основ на *\*-й*, *\*-й*, *\*-jo* как возможных проявлениях данных форм, поскольку в XI в. уже не было релевантным различие между этими парадигмами для слов одного и того же грамматического рода, а все три засвидетельствованные формы объединяются признаком мужского рода. Некоторые формы фонетически уже совпадают, ср. особенно форму *лари*, которая омонимична форме *\*-jo*-основ, каковою ее и стали осознавать после перефонологизации различных признаков в пределах слога. Это значит, что грамматическая форма «слова» не воспринималась как отдельная словоформа общей парадигмы, что представление о грамматической парадигме вообще сомнительно именно в этот период языковой истории. Что же касается н о р м ы, то в ее роли выступала не парадигма-отношение словоформ в различных их признаках, а абсолютно конкретный текст — сочетание слов, семантический блок, текстовый образец. В данном случае релевантным оказывается уже не формальный признак прежней грамматической парадигмы (= характер основы, т. е. фонетический признак), а новое категориальное свойство, которое можно определить как грамматический род. Однако и на новом этапе складывания парадигмы все-таки грамматическая категория определяет границы «слова».

Так как вопрос коснулся взаимоотношения парадигм *\*-й* и *\*-jo*-основ, напомним хорошо известные примеры склонения таких слов, как *огнь*, *звѣрь* и др. Все они из *\*-й*-основ, но перешли в склонение *\*-jo*-основ. В Выголексинском сборнике XII в. отмечаются колебания в написании: *огнь* и *онь*, *огня* и *огня*, *огньмъ* и *огньмъ*, *огневи* и *огньви* — «вторичное смягчение» согласных еще не освоено даже в слогах, которые признаются исходными для этого фонетического процесса (неорганическое смягчение в группах «гн»). В данном перечне фактически представлены парадигмы *\*-й*, *\*-jo*, *\*-й* для одного и того же имени — опять-таки мужского рода. Идеологическая важность данного слова потребовала дифференциации различных его «смыслов», и в результате могли разойтись слова со значением «стихия», «пламя» или некий философский символ вечности. Высокий стиль, как правило, архаизировал формы, и в северных рукописях старообрядцев формы род. падежа *крове* или *любве* сохранялись до XIX в., поскольку служили обозначением христовой крови и любви к богу.

При желании подобных примеров можно привести множество. В сущности, всякое изменение грамматической парадигмы «по аналогии» двуединый процесс — всегда и семантика конкретного слова определяет направление и интенсивность подобной аналогии. «Выравнивание по аналогии» проходит несколько этапов, последовательно от формы к форме, и подчиняет в конце концов все слова, входящие в данный грамматический класс. Если не ошибаюсь, многие превосходные работы В. М. Маркова и его коллег посвящены изучению как раз этой проблемы: какие ограничения в значении конкретного слова препятствуют освоению им более общих, грамматических, категориальных по смыслу значений [см. 4].

Описанный здесь по необходимости кратко разброс значений слова в зависимости от конкретной словоформы или, наоборот, форм слова в зависимости от различных грамматических парадигм, объединяемых изменяющимися грамматическими характеристиками, можно было бы истолковать как синонимию или как полисемию. Однако вернее считать, что перед нами всего лишь иное, чем принято это в современной лексикографии, отношение к норме, так и к парадигме: в средневековой культурной среде нормой признается конкретный образец, а парадигма представлена в образцовых синтагматических блоках слов, с помощью которых и создается каждый новый текст (или воспроизводится старый, известный). Что же касается семантического содержания древнерусского (= древнеславянского) слова, то это — синкрета, каждое, потенциально возможное значение которой раскрывается только в тексте. Как кажется, описанное здесь распределение не выражает ни синонимии, ни полисемии, потому что «значение» в этих случаях всегда связано с отдельной словоформой, а различные словоформы входят в грамматически разные «слова».

Проблема многозначности древнерусского слова имеет и еще один аспект. Не всякая «многозначность», как она выясняется из анализа текстов-образцов, являлась органически славянским явлением. Ментализация как способ осмысления переводимого слова (этот термин предложил Е. М. Верещагин [5]), исходя из внутренней формы слова-синкрета, в средние века начинает развивать и словарную многозначность; эта первая форма многозначности — исторически необходимая форма восприятия инородной культуры через посредство слова-понятия и как средство создания принципиально новых текстов-образцов. Принцип создания новых минимальных текстов исторически постоянно коррелирует с семантическим развитием слова. Подобная многозначность средневекового слова есть семантическая градуальность общего (т. е. исходного для данного слова) смысла, разложение потенциального семантического спектра в реальном высказывании, и смысл этот всегда проявляется только в тексте, путем переносов и в связи с влиянием на старую систему знаков со стороны другой системы (скажем, с влиянием церковно-книжного языка на древнерусский — еще один «икс» исторической лексикологии). При этом характерно, что основным принципом переноса значений в древнейших текстах является метонимия, а не метафора — верный знак того, что только объем понятия, но совсем не его содержание интересует древнерусского книжника на самой заре развития древнерусской лексикологии.

Значения греческих слов, переводимых на славянский, несомненно откладывались в литературном языке славян, до поры до времени сохраняясь в образцовых «блоках» текста, и сами по себе создавали образцы словосочетаний, поскольку они воспринимались в единстве с текстом в составе формальных клише. Если в греч. *δόξα* среди его значений имеются также «блеск, сияние, яркость», «чаяние, надежда», «видение, призрак, мечта», во мн. числе также и «высшие власти», то в древнерусских переводах не ограничивались только квазиточным эквивалентом *слава* и в целях наибольшей точности перевода стали добавлять развернутые дополнительными (самостоятельными) словами сочетания типа *слава и держава, слава и величество, вѣнец и слава*, как в Печерском патерике начала XIII в., и др., поскольку лишь включение распространителя раскрывает внутренний смысл греческого (многозначного) слова и всего оригинального текста в целом. Символика текста опиралась на многозначность греческого слова, которую необходимо было расшифровать для славянского читателя, славянское слово-синкрета разворачивается в образце-текст. Число таких распространителей постоянно растет, и притом главным образом за счет переводных текстов, откуда оригинальная литература заимствует образцовые сочетания. Так, признаки «доксии» постоянно конкретизируются и уточняются, ср. в древнерусском переводе Жития Василия Нового (XII в.) *слава и свѣтлость и сияние; чѣсть и слава и власть и весь разумъ* и т. д. Многозначность греческого слова, совмещаясь с синкретизмом славянского слова и накладываясь на последний, потребовала экспликации неизвестных прежде значений в виде самостоятельных лексем. Такова

своего рода начальная форма текстового «извития словес» и с той же функциональной заданностью: необходимость передать синкретой многозначность текстовой формы греческого слова — это перевод «страноведческого», а не художественного характера, хотя с течением времени, наполняясь все новым содержанием, привязывая значение к собственно русским «признакам» понятия, в сопоставлении с другими однозначными текстами, подобные цепочки слов стали восприниматься как синонимичные. Переводчики и компиляторы, равняясь на образцы, а н а л и т и ч е с к и представляли значение многозначного греческого слова, развертывая его в текст, а из последующих его текстовых переработок («развития мотива») и возникло представление о синонимах, хотя в современном смысле слова синонимами подобные слова, конечно же, еще не были.

Еще один пример.

Значение греч. *τιμή* в своей многозначности также нуждалось в распространителях, которые проявили бы в отдельных лексемах значения греческого слова: «определенная стоимость, мерило ценностей», «цена, стоимость», «часть добычи», «возмещение, воздаяние», «награда», «достоинство (по званию или чину)» и т. д. Эти значения греческого слова и развертываются, в зависимости от текста, в переводах, так что привлечение переводных текстов к рассмотрению семантики древнерусского слова не всегда окажется корректным, если при этом не учесть семантики распространяющих смысл греческого слова слов, ср. в «Истории» Иосифа Флавия *чьсть и многоимание, на чьсть и на златоимание, с честию и с дары, чьсти и величия*, а впоследствии как завершающий момент длительной отработки устойчивого оборота — *чьсть и слава*. В отношении к богу *чьсть* также может быть проявлена, однако в таком случае употребляется уже не сочетание слов, а сложное слово *благочьстье*. *Благочьстье* — столь же материальный дар пожертвования, но, в отличие от «добычи» или «стоимости» в значении прежних сочетаний (*имание, златоимание*), дар благой. Различие в назначении «чести» уточняется добавлением нового корня — безразлично, в какой форме.

В чередовании контекстов с ключевым словом в его употреблении постепенно возникают и оформляются ценностные характеристики слова, а уж это обстоятельство и привело впоследствии к возникновению синонимов. Греч. *αἶψα* связано с обозначением изречений: «повествование, речь», «притча», «поговорка», «похвальное слово», которое при этом иногда еще и п о е т с я. Отсюда естественные расширения слова в славянских переводах: *въспѣ хвалу, хвалами и пѣсньми, пѣснь и хвалу, въспѣша и въсхвалиша*, и т. д. Довольно часто глагол *хвалити* в ранних славянских переводах заменялся (по смыслу) глаголами *пѣти, молити, печаловати* и др., опять-таки в соответствии со значениями греческого эквивалента. Таким образом, *хвала* постепенно увязывается со *славой* признаком «слово, изрекаемое», но одновременно близко и к понятию о чести — признаком материализованной награды, воздаяния. *Чьсть, слава, хвала* в известном отношении становятся синонимами, поскольку под давлением новых текстов состоялось перераспределение некоторых сем этих славянских слов [6].

Во всех подобных случаях (а их множество) принципом семантического совмещения и наложения являлось не сходство, а наоборот — различие в значениях слов. Постепенно выработалась некая семантическая корреляция, в границах которой, например, все оттенки «доброе, хорошего», положительно маркированного сосредоточились в общей противоположности к злему, худому. Например, в переводе «Пчелы» противопоставление доброго злему эксплицируется словами *добръ и золь* даже там, где греческий оригинал не дает таких определений, но в соответствии с общим смыслом высказывания они требуются; так, говорится о царском роде и его потомках, и славянский переводчик уточняет: «от него плод б л а г ъ», потому что иным и не мог быть царский наследник. В принципе можно установить конечный список наиболее существенных корреляций такого рода — и все они окажутся идеологически существенными, опорными для данной культуры [7]. В своей совокупности они создают надлексический уровень семантики, представляя з н а ч и м о с т и в наиболее общем виде.

Создание такого «флера», охватывавшего и покрывавшего значения отдельных слов, и происходило довольно длительное время под влиянием переводной письменности. Роль отвлеченных значимостей, стоящих над лексическим значением отдельных слов, не просто в организации лексической системы самостоятельной книжной культуры — появление черт сходства приводит к формированию синонимии, к сближению семантики слов по общим признакам сходства.

Параллельно этому на такой основе кристаллизовались устойчивые сочетания по видимости однозначных слов типа *честь и слава*, *горе не беда*, *стыд и срам*, *радость и веселье* и др. со связанной (позиционно обусловленной) семантикой для выражения одного общего понятия, т. е. соответственно [хвала], [скорбь], [совесть], [праздник]. И в этом случае также, но иным образом, происходило включение смысла заимствованного слова в его славянский эквивалент (например: *образъ* при наличии слов *лицо* и *видъ* — *образъ лица* и под.), а также перераспределение значений славянских слов под давлением инородной культуры. Последнее можно иллюстрировать историей слов *животъ*, *житие*, *жизнь* в древнерусском литературном языке. Первоначальное разграничение по функции слов *животъ* и *житие* (признак, которым обладает живое существо, и — форма его проживания) [8] после введения в оборот болгаризма *жизнь* (скорее всего — в книжной практике писателей Киево-Печерского монастыря второй пол. XI в. [9]) отчасти размывается, и новая лексема долго не находит себе места в системе соответствий — пока не создаются условия для синонимических отношений на основе сходства слов и общности их исходного корня (*жизнь* одновременно и *житие*, но также и *животъ* — например, по имущественным отношениям). Таким образом, и синонимия самого литературного языка возникает как результат перераспределения значений в границах семантической общности. Подобная синонимия в древнерусском тексте есть способ реализации «многозначности» синкретического по смыслу древнерусского слова, поскольку отсутствие системной значимости слова в этот момент обедняло и его лексическое значение, и только в тексте становилось возможным выявление его смысла. *Жизнь и жите* — того же рода сочетание, что и *честь и слава*, но на первом этапе формирования синонимии они не являются, строго говоря, синонимами: только в совместном употреблении они дают выражение для нового понятия, образуя номинацию родового для обоих слов признака — «период существования кого-либо». Возникновение парных сочетаний указанного типа, в границах которых вырабатывались общие признаки сходства, столь же необходимое условие образования синонимии, как и обратный процесс семантического совмещения слов разных языков.

Являясь категорией исторической, синонимия в своем становлении проходит несколько этапов развития. Как способ системной организации слов синонимия замещает функционально слабый способ формирования лексики в систему по идеологически опорным признакам.

Как можно судить по собранным в литературе примерам, первоначально это проявлялось в виде сопоставления заимствованного слова с калькой (*скиния* — *сѣнь*), затем в виде глоссы или линейным соположением вариантов, которые возникли на основе калькирования или глоссирования (*тѣба жьртѣ*), еще позже — как описанное уже распространение в текст (*честь и слава и хвала*), как различные способы художественного использования синонимов этого типа по мере их накопления в текстах. К последним относятся примеры символической симметрии типа псалтырных текстов-противопоставлений [10] или кажущаяся тавтология в сочетаниях типа *бой-драка* и под. Параллельно этому изменялись и способы организации новых текстов. У Кирилла Туровского в середине XII в. использование подобных «синонимов» дается принципом функционального параллелизма, т. е. так же, как и в традиционных текстах, ср.:

«... старцы быстро шествоваху, да богу поклоняться,  
отроки скоро течаху, да прославят господа,  
младенци яко крилаты окрест Исуса паряще вопяху...».

Градация усиления вызывает и потребность в новом слове, которое, как считается, и содержательно «сильнее» предыдущего. Синонимический ряд осознается в контексте. Поскольку последовательность *старци — отроци — младенци* выражает общее родовое понятие (возрасты человеческой жизни), все последующие ряды и воспринимаются как формы параллельных родовых понятий, т. е. *быстро — скоро — яко крилаты, шествоваху — течаху — паряще, поклоняются — славят — вопят, богу — господу — Исусу* [см. 11]. Принцип построения текста у Епифания Премудрого в конце XIV в. принципиально другой: нагнетание слов не дробит общее родовое понятие, а уточняет значение одного и того же высказывания. Когда Епифаний просит прощения за свое «худоумие», оправдываясь в смелости, полагает он, что «подобаше ми отнудъ съ страхом удобъ м о л ч а т и, и на устѣхъ своихъ п р ѣ с т ѣ п о л о ж и т и, свѣдущу свою немощь, и не и з н о с и т и и з ъ у с т ѣ глаголь, еже не по подобию, ниже предръзати на сидевое начинание...». Внешнее сходство с синонимичностью определяется общностью номинации, однако художественная (описательная) сущность выражений как раз не совпадает: в описании постепенно совершается поворот позиции автора — от чисто внешней (молчать) через промежуточную (положить перст на уста свои — чтобы молчать) к внутренне обусловленной (слово не исходит из уст — в результате предпринятых действий). И «плетение словес» оказывается всего лишь попыткой выявить и выработать некий родовый семантический признак посредством нагнетения в тексте «неоднозначных» слов общего смысла. «Родовое понятие» остается вне текста, его нет в тексте, поскольку оно избыточно в художественно аналитическом представлении «рода». Никакой новой информации «синонимы» стиля «плетения словес» не дают, перечисление внешних подобий синонимам как бы затормаживает движения: «Егда же прииде кончина лѣтъ жития его и время ошествовѣя его наста, и приспѣ година преставления его...». *Лета — времена — години* не существуют отдельно от *жития — отхода — преставления*, да и не важны эти имена как самостоятельные, только совместно они выражают какое-то понятие о «моменте смерти». Синонимия и здесь еще контекстно обусловлена, однако если в XII в. писатель видел общность «родового понятия» субстанциально, предметно и аналитически представлял его посредством словесного ряда, то для писателя на рубеже XIV—XV вв. важны уже отвлеченные п р и з н а к и выделения и номинации, и признаки эти могут выражаться с помощью различных частей речи, разных сочетаний и т. д.

Таким образом, разными путями многозначность слов, устраняясь в парадигме, порождает синонимию, т. е. законченный ряд отдельных, самостоятельных, но близких по значению слов. Сгущение словоформ в грамматические парадигмы обратным образом и порождает синонимию на уровне отдельных лексических единиц. «Системный характер» синонимии вторичен, это производное от грамматической парадигматики, на уровне отдельных лексем он отражает параллельный процесс категоризации на грамматическом уровне. Коль скоро под напором новой словесной культуры образовалась сверхсловная системная значимость, релевантные, базовые ее признаки неизбежно должны были сконденсироваться на более абстрактном (грамматическом) уровне, а издержки этого процесса «выпали в осадок» в виде неполной синонимии. В этом процессе приходится принимать во внимание и особое значение стилистически разных текстов в условиях постоянного перераспределения жанров и стилей. Собственно говоря, исторически изменяются не слова и не их значения. Изменяются тексты, принцип их порождения и их маркировки по стилю и функции.

Создавшаяся в результате этого противоречивого и сложного процесса чрезмерная семантическая усложненность древнерусского слова в литературном тексте определялась внутренним противоречием между семантикой отдельного слова, значимостью его в границах системы и значениями в образцовых текстах: они не всегда совпадали. *Честъ* в традиционных текстах XV в. может быть еще и «часть добычи, дар», но в самостоятельном значении — «почет или уважение»; одновременно с тем в границах

системы близких понятий слово *честь* обладало уже идеологической значимостью, пределы которой постоянно изменялись. Значения «слова» распределены теперь не по словоформам, а по функциям слова в текстах. Выходом из подобной (по существу — символической) многозначности слова могли стать разные пути ее устранения, из которых кратко обозначим следующие.

Расхождения в формах, первоначально стилистически различных; за полногласной лексикой закрепились значения конкретные, за неполногласной — отвлеченные, ср. оппозиции *городъ* — *градъ* (цитадель) или *голова* — *глава* уже с XIV в. Расхождение в акцентных характеристиках, важных специально для устной речи, сразу же выделяет самостоятельные слова: *гѣба* «рот» с последовательным ударением на конце слова; *губа*, *губу* «залив» с последовательным ударением на окончании слова; *губа*, *гѣбу* «волость» с подвижным ударением [12]. Начинается развитие словообразовательных гнезд, постепенно эксплицирующих отдельные значения исходной синкреты (которая на основе переработки текста развила контекстную многозначность), уже не в конкретных текстовых блоках, а в виде самостоятельных лексем. Так, по данным исторических словарей [13] можно установить историческую последовательность порождения самостоятельных лексем типа *бѣл-* (разумеется, чисто условно в хронологическом аспекте): *бѣль* — *бѣлота* (XI в.), затем *бѣлина* (с XVI в.), почти одновременно *бѣлость* (1534 г.) и позже всего *бѣлизна* — разные степени отвлеченности признака, которые фиксируются в каждом новом образовании (тут же имели значение колебания в ударении и связанность форм в тексте: не все они имели полную парадигму форм). Возможны также грамматические вариации, ср. для трех разных значений слова *образъ* в литературном языке: *образы* — «виды», *образá* — «лики», *образыи* — «образцы, типы» и т. д. [14]. Общая устремленность системы заключается в выделении самостоятельных лексем для выражения определенных значений, как только они становятся социально важными, уже не в текстах-образцах, а в языковой системе.

Сегодня символизирующее мышление средневековья мы воспринимаем сквозь призму дошедших до нас языковых текстов, и потому аналитическое к ним отношение должно быть особенно критичным, тем более, что постоянно изменялось взаимное отношение слова и текста друг к другу. Многозначность слова или синонимический ряд в представлении современного лексиколога и по мнению средневекового книжника — совершенно разные, а во многом и противоположные понятия.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Филлин Ф. П. Лексика русского литературного языка древнерусской эпохи. Л., 1949, с. 157—158.
2. Львов А. С. Лексика «Повести временных лет». М., 1975.
3. Ларин Б. А. Проект древнерусского словаря. М.— Л., 1936, с. 74—83.
4. Грамматическая лексикология русского языка. Казань, 1978.
5. Вережагин Е. М. У истоков славянской философской терминологии: ментализация как прием терминотворчества.— ВЯ, 1982, № 6.
6. Колесов В. В., Кара Н. В. *Честь, слава, хвала* в давньоруських текстах Київської доби.— Мовознавство, 1983, № 4.
7. Кара Н. В. Язык и стиль поучений Феодосия Печерского: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Л., 1983, с. 11—15.
8. Львов А. С. Очерки по лексике памятников старославянской письменности. М., 1966, с. 106. и сл.
9. Колесов В. В. Лексичні південнорусизми у книжній мові Давньої Русі.— Мовознавство, 1977, № 1, с. 41 и сл.
10. Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979, с. 169 и сл.
11. Колесов В. В. К характеристике поэтического стиля Кирилла Туровского.— ТОДРЛ, 1981, т. XXXVI, с. 37 и сл.
12. Колесов В. В. История русского ударения. Л., 1972, с. 10.
13. Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 1. М., 1975, с. 132—139.
14. Колесов В. В. Лексическое варьирование в Изборнике 1073 г. и древнерусский литературный язык.— В кн.: Изборник Святослава 1073 г. М., 1977, с. 119—127.